

Смерть в СССР,  
или Последствия  
одного бессмертия

Гасан Гусейнов



Спрашиваю себя, когда я впервые столкнулся со смертью, восприняв ее как советскую. Это был важный момент для каждого человека. Бывала смерть настоящая. Например, в Ильинском, где мы снимали дачу, когда мне было лет десять, хоронили мотоциклиста. Несли к кладбищу на холме среди сосен гроб. Убивались женщины. Яркое солнце, глина, перед глазами черные нарядные ботинки кого-то из мужчин, которые вдруг исчезли в глинистом капкане. И сразу подумал, что и гроб с мотоциклистом засасывает так же. И что это и есть смерть. Это не была советская смерть.

Советская смерть была, когда среди бараков на Красноармейской, на месте которых лет пятнадцать спустя построят дом, в котором я буду жить, вдруг заиграет духовой оркестр — с отрывом, надрывом, задыхаясь, — и вынесут гроб рабочего человека. Так называемый «гроб с музыкой», т. е. без церкви, без отпевания. Это 1963 год. В открытый кузов грузовика ставят еловый гроб, обтянутый тонкой красной тканью с черными лентами. В гробу лежит мужчина с очень белым лицом, на пиджаке — его ордена и медали. Не на подушечке какой-нибудь, потому что человек очень простой. Даже не понимаю, как это было возможно, что не оставили на память родные, а все ему в дорогу дали. Но вот нахлобучили крышку на гроб, наживили гвозди, чтобы потом, уже на кладбище, по-настоящему заколотить, в кузов запрыгнули мужчины и женщины в платках, и поехали. Не помню, был ли еще и автобус какой-то. Но эта сцена — оркестр, спорое запрыгивание мужчин и женщин в костюмах в кузов и отъезд — была для меня, подростка, первой осознанной советской смертью. Так прощаются с мертвыми здесь.

Интересно, что тогда, в тот конкретный момент, и потом еще годы спустя, у меня не возникло никакой ассоциации происходившего с фразеологизмом «гроб с музыкой», которым пользовались, на моей тогдашней памяти, для описания чудом бывшего на ходу транспортного средства. Лишь много десятилетий спустя я впервые связал выражение «гроб с музыкой» с собственно социальной действительностью. В письме С.Г. Шпету из Енисейской ссылки 1 ноября 1935 года Густав Густавович Шпет пишет: «Твоего образа «гроб без музыки» я не улавливаю, потому что в своем жизненном опыте не встречал «гроб с музыкой»; следовательно,

«гроб без музыки» — самый обыкновенный, ординарный гроб...»<sup>01</sup>

Вот такая вещь получилась. Сначала, вероятно, героическое погребение в «гробу с музыкой» — под духовой оркестр вместо церковной службы. А чуть позже, когда начали уже морить людей в лагерях, их будут просто бросать («как картошку»). Понятнее становятся стихи Анны Барковой из поэмы «Как я попала в историю, или Воскрешение покойницы»:

*Мы решили, что ей крышка,  
Гроб без музыки и мгла,  
А она-то из-под вышек  
Вдруг обратно приползла.*

Для меня, агностика и даже атеиста, с любопытством относившегося к религиозным обрядам и — ошибочно — не воспринимавшего как религиозный обряд так называемую гражданскую панихиду (хотя все признаки обряда тут сохранялись: почетный караул, портрет усопшего, подушечки с наградами, масса мелких суеверий, связанных с полупосторонним, например, коллегой, к гробу коего сотрудников помоложе могли подгонять для массы) — с годами именно гражданская панихида (прощание в фойе институтов и клубов, в моргах больниц, и т. п.) и последующее закапывание гроба в землю «без музыки» не просто превратилось в довольно чудовищное издевательство над человеческой природой, но и нашло свое место в правдоподобной, как мне кажется, гипотезе странного культа неполноценной, или даже просто неполной, смерти, которую испытали наши покойники, а мы переживали как что-то иное. Ведь что в гробу с музыкой, что в гробу без музыки, не было в советской смерти главного — упокоения. Покойник был, но с ним обращались как-то грубовато — настолько фамиллярно, что закрадывалась мысль: может, они его считают не до конца почившим.

На эту мысль навел меня в дальнейшем «Бобок» Достоевского, вещь удивительно советская в том еще смысле, что легко укладывалась в опыт так называемых поминок, которые, в отличие от поминок после отпевания, представляли собой форменную попойку.

Так вот, фоном для гражданских панихид и закапывания наших даже и близких покойников всегда оставалась официальная идеология «вечности», в которую уходят настоящие герои дня. Некоторые опорные официальные формулы («навсегда останется в наших сердцах», «светлый образ бескомпромиссного борца» и т. п.) предполагали официальную

доктрину бессмертия. В отличие от, например, христианской доктрины второго пришествия и воскресения, советское учение никакой мистики воскрешения не предлагало. Но своим пропагандистским словесным аппаратом СССР воспитывал население в духе нелепой доктрины буквально вечной жизни. Вспоминая разговоры с людьми, не имевшими, как говорится, ничего святого, но профессионально трудившимися на похоронном фронте, я не раз и не два поражался их отнюдь не циничным обращением с покойниками — так Достоевский обращается с персонажами рассказа «Бобок». Снисходительно-дружелюбное, а иногда прямо серьезное понимание, что мы находимся в точке равновесия, и сейчас гробик поплывет туда, а мы вроде останемся здесь, но пространство это — едино, прямо-таки как у древних греков, — не высказывалось открыто, но висело в воздухе. В театральном институте, где я начинал работать совсем еще молодым человеком, умер ректор, собственно, и взявший меня на работу. Мы с симпатией относились друг к другу, поэтому к поручению перевезти тело покойного из морга к месту гражданской панихиды я отнесся со всей серьезностью. Дело было осенью 1980 года. Шел снег с дождем, я вбежал в помещение под названием «Выдача», и сотрудница морга выкатила мне нашего Алексея Архипыча в какой-то вагонетке.

— Ваш?

— Наш.

Узнаваемый, но совсем не похожий на себя и словно покрытый паутиной ректор лежал с закрытыми глазами, как будто он только что поперхнулся и сейчас откашляется.

— Вам его побрить?

— Да, побрейте, пожалуйста.

На мне было черное кожаное пальто, привезенное отцом из Монголии, и, возможно, поэтому все остальные — водители, еще какие-то конторские служащие — говорили со мной очень коротко, бросая специальные выражения, которые я как предполагаемый похоронный агент должен был знать. Но чего-то я не понял, стал уточнять, и со мной стали говорить жалостно, как с родственником усопшего. Даже пытались воспрепятствовать (родным — нельзя!) участию в погрузке гроба в автобус. Но вот все сделано, мы едем к точке гражданской панихиды (не помню даже, где она была), там снова гроб выносим из автобуса, тут уже собралась небольшая толпа, и я решил, что на кладбище не поеду: увидел лица настоящих родных, из праздного любопытства ехать не хотелось. Тем более, что в автобусе, по дороге из морга, о чем-то мы долго говорили с водителем, который мне казался Хароном. И еще — в такой момент даже неловко об этом и вспоминать — у меня пуговица от кожанки оторвалась, а запасных не было. В общем, выхожу я из здания, где была панихида, и, встретившись

взглядом с Хароном, киваю ему, показывая, что, мол, ухажу, до свидания. А тот дверцу открывает, прыгивает из автобуса и говорит:

— Ты прав был, хороший он мужик, ваш ректор. Вот тебе из гробика-то утешение шлет!

Как-то не по себе мне стало от этих слов. А Харон мне пуговицу мою кожаную протягивает. Стыдно признаться, но я обрадовался. И мы оба подумали, что у меня обязательно будет случай отблагодарить покойника за сувенир: весь наш разговор в автобусе вдруг выкристаллизовался в странное агностико-атеистическое представление, что загробная жизнь, или жизнь вечная, — где-то прямо здесь, за поворотом. Единственным, пожалуй, ее недостатком была ее полная бездуховность. Не только я с моим мещанским, как тогда бы сказали, отношением к трудно доставаемому аксессуару — пуговице, но и сам отправляющийся в последний путь, словно нарочно задержавший дыхание, олицетворяли эту бездуховность.

По прошествии нескольких десятилетий, когда я могу действительно всерьез сравнить свои переживания, связанные с советскими похоронами и погребением по традиционному религиозному обряду (главным образом, если говорить о России, православно-русскому), у меня, человека внецерковного и внеконфессионального, ни в малейшей степени не склонного к мистицизму, довольно странный баланс получается.

С людьми, погребенными по церковному обряду, в том числе очень близкими при жизни, у меня больше нет ощущения прямого контакта. Они иногда улыбаются мне откуда-то из совершенно недоступного взору и мысли пространства. А вот похороненные по-советски, в «гробу с музыкой» или в «гробу без музыки», находятся — для меня — там, где оказался Эльпенор, которого не смогли предать земле спутники Одиссея.

Думаю, что у этого субъективного ощущения есть и объективное измерение, объединяющее многих людей в России. И связано это ощущение с двумя самыми влиятельными советскими покойниками — Лениным и Сталиным.

14 апреля 2011 года Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск Евгения Джугашвили о защите чести и достоинства к радиостанции «Эхо Москвы» и ведущему Николаю Сванидзе. Называющий себя внуком Иосифа Сталина подал иск к внуку Николая Самсоновича Сванидзе, расстрелянного в 1937 году, и родственнику брата первой жены Сталина, А.С. Сванидзе, расстрелянного несколько позже.

Радиостанция «Эхо Москвы», в чьем эфире прозвучали слова, из-за которых Джугашвили подал свой иск, полагает, что истец вовсе не является родственником Сталина и таким образом формально не может подавать иска о защите чести и достоинства постороннего лица. Для определения родства Евгения Джугашвили «Эхо Москвы» требует эксгумировать

останки И.В. Сталина, захороненные в 1962 году у кремлевской стены. И вот тут возникает вопрос: как это — эксгумировать того, кто и так, в представлении большинства соотечественников, жив.

Параллельно, то затухая, то разгораясь, в России идет и другой спор погребально-наследственного характера. То и дело различные общественно-политические группировки и частные граждане предлагают предать земле мумию основателя Советского государства Н. Ленина (Владимира Ильича Ульянова). Ленин, как известно, с 1924 года находится в Мавзолее, где несколько лет рядом с ним лежал и Сталин (1953–1961). Но интимная связь Ленина и Сталина пока не стала таким распространенным живым литературным сюжетом, как, например, в книге Владимира Сорокина «Голубое сало» (1999), где посмертную любовную игру ведут Сталин и Хрущев. Правда, этот эпизод в романе, возможно, восходит к известным карикатурам из британской прессы 1939–1940 гг., изображавшим бракосочетание и даже первую брачную ночь Сталина и Гитлера. Стилистически он является возвышенной литературной пародией на обценные частушки и анекдоты о Сталине и Ленине, широко ходившие в пору школьного отрочества автора романа.

Поэтому я остановлюсь на другом аспекте современного присутствия Сталина в культуре смерти России и сопредельных стран, а именно на феномене бытового, повседневного сталинизма много десятилетий спустя после смерти Сталина.

Своя личная связь с Лениным и Сталиным была и есть у каждого бывшего советского человека. В качестве примера мне легче всего привести себя самого. Итак, эта личная связь существует на словесном и дословесном уровне, как туго закрученная пружина, постепенно с годами распрямляющаяся и наносящая раны. Эта пружина бывает закреплена на игре слов. Так, от моего соседа по подъезду Григория Марковича Литинского я помню фразу, за которую тот был в свое время арестован. Он пошутил, что учится в институте «Стали и Лени» (вместо института «Стали и сплавов»). Другой мой сосед по подъезду, Герман Моисеевич Абрамович, в тридцатые годы сбежал из Москвы на Дальний Восток после того, как арестовали его знакомого: вешая новый портрет Сталина, тот сорвал со своего шкафчика старый, пообтершийся. Этот смятый портрет с соответствующим описанием эпизода бдительный сослуживец отнес в первый отдел. Статья, по которой загремел провинившийся, называлась «за подготовку к террору». Хорошо помню фразу, которую громко произнесла в 1970 году Мариэтта Шагинян, жаловавшаяся на запах газа в Переделкино: «При Сталине такого безобразия не было!» Не вставая с места, я могу назвать не один десяток прямых сталинских цитат, которые употребляли люди из моего окружения, давно забывшие

происхождение этих цитат, а то и вовсе никогда не знавшие, что говорят сталинским русским языком. Сталин — это поразительный мертво-живой человек, соотечественник большой доли современных россиян.

Но сколько веревочке ни виться, а надо держать ответ. В 1960 году меня, в группе шести-семилетних детей накануне перехода из детского сада в школу, отвели в Мавзолей, где тогда лежали вместе Сталин и Ленин. Ужас, который должны были в этот момент испытать дети, в моей памяти запечатлелся не как травма, а как странное и даже симпатичное узнавание. И вот почему. Мы с родителями жили тогда в маленькой комнате в коммунальной квартире, и родители иногда привозили меня погостить к родственникам — тете Кларе и дяде Грише, жилищные условия у которых были получше. Правда, они тоже жили в одной комнате. И не только жили, но и работали: дядя Гриша был переплетчиком. Пространство комнаты было поделено на нижнюю и верхнюю части. В центре находилось небольшое архитектурное сооружение, в котором было множество дверок, выдвижных ящиков, а также выдвижной верстак. Собираясь спать, дядя Гриша и тетя Клара взбирались на ложе, которое представляло собой крышу сооружения, а меня укладывали спать в какой-то весьма удобный, надо сказать, выдвижной ящик у самого основания сооружения. Там я и спал в чудесном аромате столярного клея, скипидара, дерматина, воска, разных сортов дратвы, бумаги и картона, в аромате, который усиливался волшебными словами «слизура», «форзац», «фальц».

Каково же было мое изумление, когда в мавзолее Ленина и Сталина я увидел два точно таких же ложа, правда, со стеклянными крышками сверху. Вместо живых и ногами вполне подвижных тети Клары и дяди Гриши там лежали два вечно живых человека. Освещенных так, что казались светящимися. Ленин и Сталин.

Но само слово «Сталин» тогда для меня не существовало. А узнал, впервые осознал как слово и еще — что есть такой человек — Сталин, — я только в конце октября 1964 года в школе № 152 города Москвы, где сразу после снятия Хрущева наша директриса Зинаида Анисимовна отправила нескольких школьников четвертого класса стирать пыль с огромного портрета Сталина, который лежал на чердаке. Не поняв политического характера этого задания, мы вместо стирания пыли порвали Иосифу Виссарионовичу брюки и продавили лицо. Не нарочно! Но Зинаида Анисимовна не на шутку разгневалась. В этот день у нас состоялся первый разговор с отцом о политике, и имя Сталина возникло в нем как первое политическое имя.

Когда я сейчас, 53 года спустя, пытаюсь вспомнить этот разговор, у меня, естественно, ничего не получается. Более того, во многом

из того, что мне сегодня может казаться личным воспоминанием, на самом деле гораздо больше продуктов чтения позднейших текстов, включая дневник отца, в котором по горячим следам описаны размышления взрослого тридцатипятилетнего мужчины, а вовсе не переживания одиннадцатилетнего мальчика.

Но все-таки эпизод с портретом был документально зафиксирован. Как и эпизод с Мавзолеем. Тогда, в середине 1960-х годов, я еще не знал, что моя мама была с декабря 1952 года в заключении, причем по уголовной статье, благодаря чему и вышла по амнистии, объявленной вскоре после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Где мы и где — товарищ Сталин! Но в том-то и дело, что подобным образом, такими же множественными нитями, с этим именем связаны жизни большинства других людей. Я ведь еще даже и не приступил к перечислению понятий, к которым до сегодняшнего дня применяют эпитет «сталинский». Сталинскими в современном русском речевом обиходе бывают изобилие и шпионы, архитектура (дома, квартиры, высотки) и преступления (лагеря и ссылки), соколы и проститутки, танкисты и командиры, времена и достижения, ампиры и соратники.

В какой бы поздний советский год мы произвольно ни ткнули, Сталина там окажется намного больше, чем можно было бы ожидать. 39 номер журнала «Континент», вышедший в 1984 году. До Перестройки и второй попытки десталинизации осталось всего несколько лет. Номер начинается стихотворением Сергея Гандлевского: «Картина мира, милая уму: писатель сочиняет про Муму; шофёры колесят по всей земле со Сталиным на лобовом стекле».

На последней странице обложки номера за 1984 год — соцартовское полотно В. Комара и А. Меламида «Сталин и музы». А в самой середине номера — начало большой статьи поэта Наума Коржавина под названием «А был ли Сталин-то? (Очерки о психологическом развитии советского большевизма)».

Понятно, что в тамиздате и в самиздате Сталин был ключевым книжно-журнальным именем на протяжении первых тридцати лет, прошедших после его смерти. В самом Советском Союзе, наоборот, публичное исследование сталинизма не практиковалось вовсе, если не считать первых разоблачений «культы личности» и робких попыток в изданиях «для служебного пользования». Оставаясь героем анекдотов, микрогруппового обихода, Сталин все прочнее и изоощреннее демонизировался. Только в «перестроечные» года эти анекдоты были собраны и опубликованы (отметим «Сталиниаду» Юрия Борева) и только в 2010 году в России вышла первая научная книга об этих сталинских анекдотах. Стена между самиздатски-тамиздатской рефлексией-интроспекцией и советской фольклор-



ной демонизацией Сталина рухнула в самом конце 1980-х годов. И тут выяснилось, что в стране не только нет консенсуса по вопросу о Сталине и об опыте сталинизма. Случилось нечто гораздо более интересное. В каждом своем новом посмертном воплощении Сталин выступает в противоречивом обличье. Это почти всегда одновременно и парадный портрет, и карикатура. И убийца Троцкого, и его менее талантливый ученик и последователь, и победитель всех своих врагов, и убийца членов собственной семьи.

«Вопросы сталинизма» актуализируются всякий раз накануне майских праздников. Раз в четыре года в СССР и в России всякий раз всё помпезнее отмечают то юбилей начала Великой Отечественной войны, то юбилей Победы в этой войне. И всякий раз наблюдается все более острое общественное противостояние. Одни хотят увидеть своего родного, «исторически достоверного», Сталина — с орденов и медалей, с киноэкранов середины XX века. Другие не хотят видеть своего палача и садиста и слышать его речи.

Вся беда в том, что эти речи остаются в русском общественном языке и в стиле общения. Фирменный сталинский стеб пережил десятилетия, надолго прилип к русскому языку и к визуальной культуре. Сталин — это что угодно, только не мертвец.

Общественное сознание не просто носит в себе этого двойного Сталина. Один — это полурозмороженная в конце 1950-х и начале 1960-х годов демоническая фигура, общественный диалог о которой не состоялся тогда, когда должен был состояться, т.е. сразу после его смерти. Другой — это исторический оратор, балагур, стебать, ерник, автор хохм о себе самом, циник и любитель литературы и кино, артист. «Писатель-Сталин», как назвал известную книгу Михаил Вайскопф. Киногерой, стилистика которого воспроизводится с разной степенью мастерovitости у Солженицына и Рыбакова, персонаж книги Троцкого, сумевший убить собственного автора. Сталин и сейчас представляется многим не зарытым в землю у кремлевской стены, а бродящим там в облике то вампира, то супермена, готового в любую секунду выскочить на поверхность.

Вирулентность Сталина особенно понятна сегодня, в эпоху «Гарри Поттера», «Звездных войн», «Игры престолов», в современных синтетических визуально-словесных игровых жанрах, которые так нуждаются в пахучем, даже вонючем, грозном злом начале: одни хотят победить этого врага, другие наоборот, хотят иметь его в союзниках. Но и те, и другие усваивают его язык, впускают его в свое сознание.

Вы спросите: «А как же Ленин? Ленин-то и вовсе лежит как живой».

Совершенно верно. Ленин и вовсе присутствует как последний символ советской вечности и советских безутешных похорон, когда зарываемый



в землю мнится уходящим в эту самую вечность и — продолжающим жить среди нас. Не погребенным до конца. Даже Мавзолей — не вечное пристанище, что уж говорить о Сталине, которого 55 лет назад перевели, как живого, из королевского номера в скромный подземный люкс без окон и с тяжелой дверью.

Эта особая роль Сталина и Ленина живет и в языке работников похоронных услуг. На языке бальзамировщиков «сталиным» называют клиента, у которого бальзамируют только руки и лицо, а «лениным» — бальзамируемого полностью.

Вот вам и объяснение, отчего люди, похороненные в СССР в «гробу с музыкой» или в «гробу без музыки», пока еще не ушли до конца. Пока живы и не похоронены те, кто прокладывал этот ледяной путь, об упокоении жертв не может быть и речи.